

## 27 СТРАН В 27 ЛЕТ — ПОИСК СТАБИЛЬНОСТИ

Моя тема — рассказ о моей судьбе, судьбе одного человека — перемещенного лица, Ди-Пи, с некоторыми отклонениями в обобщение.

Во-первых, я — Ди-Пи из второй волны эмиграции. Эта волна состоит из русских, после революции осевших в европейских странах и в результате развития военных действий Второй мировой войны перемещенных в другие страны. Конец войны нас застал в основном в Германии и Австрии. Начало эпопеи Ди-Пи для нас происходило в разное время.

Хотя для русских — советских граждан Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года, для русских — эмигрантов она начиналась в различное время и при различных обстоятельствах: для тех, кто жил в Польше — война началась 1 сентября 1939 года, для тех, кто жил в Англии и Франции — на 2 дня позже, в Бельгии и Голландии — 10 мая 1940 года, в Югославии — 6 апреля 1941 года, а для тех, кто жил в Соединенных Штатах — 8 декабря 1941 года. Для тех, кто жил в балтийских странах и Чехословакии, положение было, пожалуй, сложнее всего.

Хочу указать, что среди Ди-Пи были не только люди без подданства (гражданства), но и подданные тех стран, в которых люди жили до войны: в частности, британские и французские подданные. Первое время после конца войны это не имело никакого значения — советские репатриационные комиссии всех выходцев из Российской Империи считали своими подданными, подлежащими репатриации в СССР и вывозили их любой ценой. Западные союзники применяли насилие при выдаче русских (до конца 47-го года).

Я — из польской эмиграции.

Во-вторых, я из той категории эмиграции, которая отказалась ассимилироваться, т.е. сохранила русский язык и русскую культуру, как основной язык и основную культуру.

В-третьих, я вхожу в более узкую категорию, которая систематически поддерживала изучение Родины и связь с ней, но при этом учитывала, что той Родины, из которой мы (или наши родители) эмигрировали, больше нет. Мы не оплакивали прошлое, не мечтали о восстановлении монархии, а по мере сил делили интересы и заботы наших соотечественников в СССР.

И, наконец, я вхожу в самую узкую категорию, которая не использовала свою «русскость» как профессию. Поясняю: мы приобретали обычные профессии и продвигались по служебной лестнице на равных началах с местным населением. Лично меня можно считать гибридом — хотя я, действительно, 13 лет проработала в русском отделе «Би-Би-Си», меня туда пригласили не как русскую, а как носителя русского языка, знание которого было подтверждено дипломом Сорбонны. Я работала — и на работе считала себя исключительно представителем британской общественности. Кроме этих 13 лет, все

годы моей профессиональной деятельности — переводы, преподавание, публицистика — были связаны со знанием разных языков, в первую очередь французского и английского.

Ди-Пи — очень сложная категория.

Все более или менее знают, в каких условиях эмигрировала первая волна и с какими условиями она столкнулась. Сведения о второй волне более расплывчаты. О судьбе советских граждан, оказавшихся в числе Ди-Пи, — военнопленных, угнанных на работу, выехавших добровольно, должны рассказывать специалисты. Я буду говорить только об очень ограниченном опыте — девочки, потерявшей отца (офицера запаса польской армии) в сентябре 1939 года, попавшей в Германию вместе с матерью и ставшей в большой мере хозяйкой собственной судьбы в 1945-м, в возрасте 9 лет.

Лет до семи я плохо понимала, что происходит. Шла война. Шла одна потеря за другой, одна катастрофа приходила на смену предыдущей, сменялись города и даже страны проживания, а также языки, на которых говорили окружающие — но пока рядом была мама, было понятно, что она меня защитит. В 1943 году, однако, мама попала в лагерь, и меня удочерили друзья — русская семья, жившая в Берлине.

Школ в городе не было (как я узнала много позже, детей эвакуировали), но отдельные дети все же остались, и их определяли в детдома дневного пребывания — Киндерхорт. В такой Киндерхорт определили и меня — хотя я в принципе не имела на это права, будучи унтерменшем, существом низшей категории, не дотягивавшим до человека. Но моя приемная бабушка была баронесса, причем с немецкой фамилией, и ей не отказали. В этом Киндерхорте я выучила немецкий язык, причем за две недели я научилась говорить, как природная немка. Дело не в каких-то сверхъестественных способностях к языкам, а в том, что меня очень больно били, когда я всего лишь «ойкала» по-русски. Когда я стала говорить по-немецки, меня оставили в покое.

Берлин бомбили ежедневно, в Киндерхорте кормили отвратительно и ничему не учили, мамы рядом не было, и я стала сбегать оттуда в русский книжный магазин, который был также библиотекой. Там, правда, не кормили совсем, но зато и не били, и не заставляли петь глупые песенки, не заставляли учить стишки про великого фюрера и великую германскую нацию, а разрешали читать, причем давали советы и отвечали на вопросы. Николаю Леонтьевичу Бенуа, хозяину этого магазина и двоюродному брату моей приемной бабушки, мы с мамой обязаны выше головы.

Тут хочу привести один пример чисто эмигрантского мышления: уже в 8 лет я точно понимала, кто друг, а кто враг. На нас сыпались бомбы союзников, знакомые и родственники при этом гибли — но для себя я все же решила, что я на стороне бомбардировщиков, потому что они нас с мамой освободят от ненавистных гитлеровцев. Не от немцев, как таковых — немцы были такие же люди, как и мы, но были гитлеровцы (не только как понятие, но и конкретные личности, действовавшие по своей партийной совести). Они были у власти, они олицетворяли зло, и раз нужны были бомбы, чтобы их победить, то я радовалась даже бомбам, которые в любой момент могли нас с мамой и приемной бабушкой убить.

Мне сейчас странно это вспоминать — но было именно так. Я серьезно для себя продумала этот вопрос, глядя на самолеты союзников, несшие нам смерть: я желала успеха англо-американским летчикам, а не немецким зенитчикам.

Думаю, что сказывалось царившее у нас в семье отношение к Советскому Союзу — отношение ведь было сознательно двойное. СССР — это страна, в которой у власти были коммунисты, но в которой жили родные нам и любимые нами русские. Коммунистов мы ненавидели, а русских любили и жалели.

Кстати, когда я говорю «русские», я имею в виду, конечно, тех людей, которые были населением страны — бывшей Российской Империи. О «пятом пункте» я тогда ничего не знала и до сих пор его считаю вредным. Вот у меня, например, нет ни одной капли «русской» крови — если смотреть на национальность с точки зрения 5-го пункта — но я считаю себя русской и никто против этого никогда не протестовал. У нас в семье это все было особенно ярко выражено, но мы не были исключением.

Уже в те ранние годы, как и всю жизнь, храм, русская церковь и происходящее в ней богослужение были для меня самым прочным якорем. Служба была одинакова — как в Варшаве, так и в Берлине, так и впоследствии в Мюнхене, Вендлингене, Касабланке, Марракеше, Лаффрей, Париже, Вене, Амстердаме, Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Кондопге. В беженском лагере, в детском лагере, в православной гимназии, в лесу, в детской больнице — Литургия была всегда постоянной и неизменной. Даже когда она служилась не на церковно-славянском языке, мы могли в ней участвовать. Когда я стала петь в церковном хоре, мне пришлось петь и по-французски, и по-немецки, по-английски, по-гречески, по-португальски, по-голландски... неважно, на каком языке и в какой обстановке. Литургия остается постоянным якорем, сердцевиной существования для русского эмигранта.

В скобках скажу, что меня невероятно удивило, что в моем поколении евреи русского происхождения с удовольствием пели православную Литургию, причем на любом языке, и считали это неотъемлемой частью своего эмигрантского существования, если для них не было особой своей еврейской среды.

Итак — русская девочка, родилась в Польше, была увезена в Германию. Под конец войны мама, как и большинство русских эмигрантов, искала — «кому сдать», «под кого идти». Все мы старались изо всех сил не попасть под советскую оккупацию. Мама, как и большинство наших друзей, выбрала американцев, и из Берлина мы отправились (в основном в теплушках товарных поездов) в сторону Чехословакии. У нас было очень мало вещей: по рюкзаку и какие-то тюки — с ними было легче справиться, чем с чемоданами, можно было на них сидеть и лежать. Мне было разрешено взять одну игрушку и одну книгу — маленького зайчика и «Маугли» Киплинга — конечно, по-русски.

В дороге было очень голодно, и тут впервые я использовала свое знание языков в целях материального обеспечения семьи: немцы на вокзалах устраивали пункты питания для матерей и маленьких детей. Конечно, они это делали для своих горемык, не для русских — но я говорила по-немецки, как немка, и могла убедить начальство нас покормить: рассказывала, что мы с сестрой (маме было всего 27 лет, она была крохотного роста и

вполне сходила за подростка) пробираемся из Берлина, где нас разбомбило, к родственникам в Судеты.

Так мы выжили и благополучно добрались до Мариенбада, где собралась большая группа русских. Мы ночевали в ресторане, а днем расходились, кто куда. Не знаю, что делала мама — я ходила по лугам и лесам, пела, наблюдала за жизнью природы — это было мое постоянное увлечение, еще один из якорей, которые обеспечивают человеку стабильность, когда мир рассыпается на глазах.

На Пасху 6 мая нас заняли американцы и по секрету сообщили одному из членов нашей группы — британскому подданному, который отлично знал английский язык, — что вся территория через 48 часов будет передана — цитирую — «красным чехам».

Пришлось нашей группе срочно уходить из Судет. Транспорт не работал, и мы буквально ушли — пешком, через леса и поля. То, что могли — несли, остальные пожитки пришлось бросить — вернее, поменять на какие-то продукты. Огромная семья Янг (три брата с семьями) где-то заполучили телегу и всей семьей ее тащили, тянули и толкали. А на телеге на вещах семьи сидела жена одного из братьев Ядвига, на девятом месяце беременности. Я толкала детскую коляску, наполненную книгами, а на них восседала годовалая Алена Бердникова. Мне не разрешали ее привязывать, а ремней не было, и Алена часто выпадала: особенно, когда мы шли по еловому лесу, где толстые корни вились по поверхности и коляска подпрыгивала. Мне было неполных 9 лет.

Мы шли дней десять, обходя населенные пункты, опасаясь, что нас могут остановить и отправить назад — что, оказывается, и происходило впоследствии с теми, кто пытался бежать в Германию.

Есть было нечего.

Тут хочу сразу сказать о самом сильном чувстве, которое я испытывала, будучи беженкой, Ди-Пи.

Лет до 15 я всем (кроме семьи) мешала, и мне это постоянно показывали. Я была одним из тех людей, которые не были нужны никому и от которых все хотели избавиться. Ведь нас было много — миллионы бездомных, нищих, измученных, ни к чему не годных людей. Мы хотели есть, пить, укрываться от дождя, стужи и солнца, нам нужна была медицинская помощь. И к тому же мы для всех были чужие.

Немецкому населению деревень вдоль границы мы (русские) мешали больше, чем кому-либо, потому что на эти деревни хлынула громадная волна беженцев-немцев. Как тех, кто спасался добровольно, так и тех, кого высылали из Судет как оккупантов.

Мы ушли из Судет самыми первыми, еще до конца войны. Наша группа была сравнительно небольшая (человек 50, в том числе человек 12 мужчин) и сравнительно организованная (мы были как бы гомогенной массой). Мы были авангардом, но немцы отлично понимали, что за нами пойдут другие, более близкие им люди. В немецкой пограничной деревне, где Ядвига родила, нам предоставили убежище в школе, где мы разместились на полу. А своих беженцев немцам уже некуда было положить, кроме как на сеновалах. Деревня достаточно энергично пыталась от нас освободиться и в этом

преуспела: донесла американцам о непонятных и нежеланных постояльцах русского происхождения.

Наши мужчины, кроме троих, разошлись (пешком, конечно), чтобы выяснить, что где происходит и куда бежать дальше. Старостами группы назначили, вернее, выбрали, нашего британского подданного, говорившего по-английски, и мою маму, говорившую по-немецки. На Троицу, когда мы украсили цветами и березовыми ветками класс, в котором жили, и пропели молитвы, к нам вломились с автоматами американские солдаты и заставили забраться в их грузовики — «везем вас на родину». На протесты ответили очередью из автомата. Были они достаточно пьяные, очень страшные.

Часа два везли нас в открытых грузовиках, на большой скорости, что было тяжело и страшно, и привезли в бывший лагерь военнопленных, куда свозили русских для репатриации в СССР. К счастью, это был временный репатриационный лагерь, находился он в американской зоне. Он был битком набит людьми, в основном молодыми. Нас встретил комиссар в щегольской советской форме, приветствовал нас так: «Ага, еще одну группу изменников Родины привезли!» и сообщил, что на следующее утро будет транспорт на родину, последний из этого лагеря, так что нас привезли как раз вовремя.

Он ушел, мы остались, сбившись в кучку, и мама (оставив меня в лагере в качестве заложника) пошла с британским подданным к американскому коменданту — доказывать, что мы ни выдаче, ни репатриации не подлежим. Тут впервые мы узнали, что русский — это значит советский, а советский — это значит: «Отправляйся отсюда домой, ты тут нам не нужен».

Не знаю, как это им удалось, но наши гонцы вернулись с известием: если нам удастся бежать из лагеря и избежать насильственной репатриации, то американцы нас вторично выдавать не будут.

Маме удалось подкупить немцев, живших рядом с лагерем, чтобы они оставили отпертой свой сарай-прачечную и нас не выдали. Бежали мы ночью — я это все рассказываю в книге «Судьбы поколений...» — и в конце концов все кончилось благополучно, но все мы точно запомнили, что мы считаемся изменниками Родины, а жестокость нашей Родины была хорошо известна.

Нам очень и очень повезло — невероятно повезло. Нас не выдали и даже отвезли обратно в деревню, куда должны были вернуться наши мужчины. Правда, школа уже была занята немецкими беженцами и нас послали на сеновалы, где мы и разместились, как могли.

Впоследствии я много слышала и читала о других выдачах, причем особенно лютыми оказались англичане. Мы отделались испугом, но мама моя навсегда была сломлена этим страхом и грузом ответственности. Она боялась всего и всех, тяжело болела и до конца своих дней не хотела говорить со мной о прошлом. Поэтому я мало что знаю о своей семье и ничего не знаю о своем детстве, кроме того, что сама помню.

Скажу в скобках, что мама отказалась от компенсаций от правительства ФРГ, полагавшихся ей (и мне). Она спрятала свои лагерные удостоверения «с собачьим номером» и болезненно реагировала на любое предложение юристов похлопотать за нее.

Она была человеком с очень ограниченными средствами, но не хотела вспоминать эти жуткие для нее годы даже ради больших выплат.

Боясь репатриации, мама отказалась от возможности жить в лагере Ди-Пи, где кормили, одевали и обували (гуманитарная помощь из Америки) и где для детей сразу же открылись школы. Мы перебивались кое-как в городе, мама работала, я читала. Я тоже тяжело и долго болела, но все равно о лагере Ди-Пи не было и речи — хотя я иногда посещала Шлайсхайм, и даже Менхегоф: в основном, для медосмотров и прививок.

В лагерях этих бывали облавы, там проводились знаменитые «скрининги», т.е. проверки — действительно ли человек не подлежит репатриации. Ходили бесчисленные истории об ужасах, но также и о везении, о находчивости людей, о том, как полуграмотным колхозникам удавалось обмануть проверяющую инстанцию. Без «скрининга» нельзя было выехать из Германии, а оставаться в Германии никто не хотел — страна была не только разорена, но и разрушена. Голод, холод, разруха, безработица, безнадежность — а за океаном манит благополучие, сытость, чистота и стабильность. Вот только нужно пройти «скрининг» и получить «афидэвит»: новые, странные, страшные слова.

Были курсы специально по изучению тех стран, на которые люди «выправляли себе» документы, были целые цеха по изготовлению этих документов. Были письма от людей, которым уже удалось уехать.

В лагерях шла совершенно ненормальная по форме и по физическим условиям, но очень налаженная жизнь, направленная на будущее. Мы с мамой жили в городе — казалось бы, в более нормальных условиях, но на самом деле без почвы под ногами.

Интересно, что во время войны был еще какой-то порядок. Были карточки, их каким-то чудом отоваривали, был хороший шанс выжить — несмотря на бомбежки и обстрелы. А в 1945, 1946, даже 1947 году вполне можно было умереть от голода, не говоря уже о болезни. Мы снимали комнату у старушки Церрле, у которой один за другим ампутировали пальцы на обеих руках — они гнили от авитаминоза и полной голодухи.

Мама и хотела бы выбраться из Германии, но боялась «скрининга» до обморока. Кроме того — тут обострилось чувство брошенности: никому не нужна была болезненная молодая женщина без образования и профессиональных навыков, да к тому же обремененная девочкой — ведь девочка не станет солдатом. Мы и без того чувствовали себя беззащитными и ненужными, но других Ди-Пи хотя бы приглашали на собеседование — в Европе нужны были шахтеры и прислуга, в США и Австралии — сельхозработники, и люди уезжали, хотя и зная, что несколько лет они будут фактически крепостными рабами. А маму никто не брал.

Только Австралия, Канада и Марокко брали почти всех подряд — им нужны были ЛЮДИ, как таковые. Мама решила так: Австралия слишком далеко, оттуда мы уже не вернемся в Европу, а культура — это Европа. В Канаде холодно, а за войну мы натерпелись холода. Марокко — страна французской культуры, дает всем детям стандартное французское образование, оттуда недалеко до Европы — едем в Марокко.

И в августе 1947 года мы поехали. Это была третья группа, организованная покойным Константином Васильевичем Болдыревым, Царство ему Небесное — святой человек, сколько людей он спас! Ведь Марокко не заключило с СССР соглашения о выдаче — репатриации. У Марокко вообще не было дипломатических связей с Советским Союзом, так что русские Ди-Пи там были в безопасности.

Первая группа Ди-Пи в Марокко — 800 человек, почти все молодые парни, вывезенные немцами из СССР подростками на работы. Они шесть лет провели в различных лагерях, нормальной жизни не знали и не очень по ней тосковали. Образования не имели, но на здоровье жаловаться никак не могли и работали хорошо. Группу возглавил некий Копытов, и парней так и называли «копытовцами». Они начали приводить в порядок ту территорию, которая нам была выделена под лагерь.

Вторая группа — 320 человек, наша аристократия — первопроходцы, и в основном интеллигенция. Регент, Евгений Иванович Евец, с ним жена и четверо малых детей, сестра жены — замужем за режиссером Малого Театра. Профессор истории Ульянов (вскоре был приглашен в Канаду, где успешно проработал по специальности и на своем уровне — редчайший случай!) И многие другие — люди, которые стали друг другу (и мне) родными, которые превратили Марокко в ценнейший очаг русской культуры.

Нас в третьей группе было 230 человек, и после нас группы были уже не столь многочисленны.

Приехали мы 23 августа. Африка, жарко. Нас высадили прямо-таки в пустыне — пыль, песок, камушки, колючки, и вокруг — остова бараков без крыш, без окон, без дверей. Как тени, бродят скелетообразные коровы и ослики. И те, и другие жуют колючки с хрустом — оказывается, растения сплошь покрыты улитками разных размеров, которые себя законсервировали на лето от сухости, а животные их поедают, утоляя таким образом и голод, и жажду.

А нам утолить жажду нечем — в лагере Бурназель нет воды. Ее провели только через несколько дней. Копытовцам пришлось еще хуже. Да и вторая группа страдала больше нас, но первое впечатление и для нас было страшное.

Крыши покрыли, двери повесили, окна вставили — хотя стекла в них заменяла мельчайшая сетка, опыленная каким-то полупрозрачным раствором, который высыпался при малейшей попытке навести чистоту. Представители ООН выдали хоть и крохотные, но все же реальные деньги на покупку самого необходимого — матрас, кастрюля, примус, ведро. Остальную мебель мастерили сами из деревянных ящиков из-под апельсинов. Русские эмигранты, жившие в Марокко уже по двадцать лет, помогли с поисками работы.

Большинство мужчин принялись за геодезические съемки: именно наша эмиграция измерила все Марокко, именно наши строили первые плотины и дороги. Мы делали ту работу, на которую никто не соглашался — ведь никто не хотел жить «на террене», т.е. на изучаемом объекте, в пустыне, в армейской палатке без каких-либо удобств. Северная Африка богата солнцем, скорпионами, ядовитыми змеями и ядовитыми пауками, но никак не водой, не растительностью, не удобствами. Никто не знал местного языка — ни

французского, ни тем более марокканского варианта арабского. Но все научились, и подавляющее большинство нашей эмиграции выжило.

Увы, теперь в Марокко никого из нас не осталось — все разлетелись по белу свету, но мы держим связь и удивительно много знаем друг о друге. Эта труднейшая пора и объединившие нас усилия глубоко сплотили нас.

Для меня в Марокко самым трудным оказалось тамошнее благополучие: война совершенно не коснулась страны и нас совершенно не понимали. Будучи белыми по коже людьми, мы автоматически считались выше местного населения, но при этом были беднее рядового марокканца. Местные власти совершенно не понимали, что с нами делать, и в частности — что делать с сотней детей различного возраста, не знавших французского языка.

В октябре начинался учебный год. Нас решили для начала разместить по начальным классам школ, чтобы мы научились французскому. Моя возрастная группа — человек 20 — состояла не из обычных детей, а из малолетних взрослых, прошедших основательную жизненную школу, нам нечего было делать с шестилетними французиками из благополучных семей.

Моя мама — которая работала за гроши у местной дамы, изготавливала шелковые абажуры — сказала мне, показывая на наше обиталище в бараке: «Только ты можешь нас вызволить из этого состояния. Я смогу обеспечить нам выживание, но ты должна учиться и добиться того места в обществе, которое мы сейчас потеряли. Это можешь сделать только ты, я помочь не могу».

И мама отдала меня в частную, платную школу, в тот класс, который всего на год был моложе того, куда я подходила по возрасту! Не знаю, каким образом ей удалось убедить Красный Крест дать ей заем на два года моего обучения, но она этого добилась. (Последние остатки этого долга мы выплатили в тот год, когда я вышла замуж, в 1963 году). И я стала учиться, как зверь.

До того я никогда не была в школе, и не знала не только французского языка — я вообще ничего не знала из школьных предметов. К тому же, школа была католическая и оказывала на меня сильнейшее давление, чтобы я отреклась от православия. И наконец — меня презирали и даже били за то, что я во время войны находилась в Германии... Первое время я все перемены проводила в туалете, запершись от своих сверстниц.

К концу первого года я вышла на первое место по французскому языку. К концу второго года считалась уже первой ученицей, а к концу каникул сдала конкурсный экзамен в лицей — государственный, бесплатный, к концу третьего года я уже в лицее получила первый приз по успеваемости и личную стипендию. Таким образом, отпали расходы по моему обучению, учебники выдавались бесплатно и меня в школе кормили обедом и полдником.

В 15 лет я стала зарабатывать — давала уроки русского и французского. Мы с мамой жили настолько скромно, что мои 4 урока в неделю полностью оплачивали нам с мамой питание. В 17 лет я впервые поступила на настоящую работу во время летних каникул: к



тому времени я уже знала английский достаточно, чтобы поступить в американскую телеграфную компанию. Через год провела лето в авиакомпании Pan American Airways, где пришлось говорить не только по-французски и по-английски, но и по-арабски, что у меня плохо получалось. К тому времени Марокко уже обрело независимость, руководители-патриоты не хотели ни летать на самолетах Air France (хотя у них была на Марокко монополия), ни пользоваться французским языком. Очень интересно было впоследствии следить за их продвижением у власти.

Аттестат зрелости я получила в 20 лет, причем — похвастаюсь — мой результат был лучшим в Марокко в тот год. Откуда я это знаю? — В местных газетах публиковались результаты, и только я сдала экзамены в среднем на «Mention Bien». В нашем лицее было более двух тысяч учениц, параллельных классов было около десяти — и в моем году первые три места постоянно занимали три Ди-Пи: кроме меня — чешка Яна и венгерка Эва.

Русская жизнь у нас при этом была весьма богатой и напряженной, причем ее центром была наша церковь. Храма было два: один домовый в городе, и один барачный в лагере Бурназель — его мы создали все вместе, на что ушло несколько лет. Кроме богослужений, у нас в Бурназеле была четверговая школа (в те времена французские дети были свободны от занятий по четвергам — наследие Конкордата между Наполеоном и Папой Римским). После литургии, на которой хор состоял исключительно из детей, у нас были уроки — Закон Божий, музыка, русский язык, русская литература, русская история, русская география. Нам давали домашние задания, но экзаменов я не помню. Учебников, конечно, не было — кроме Священного Писания, которое мы получали за символическую плату от Библейского Общества. Не было пишущих машинок и ротаторов — кстати, в лагере не было и электричества. Ноты Евгений Иванович писал от руки. От руки писались и конспекты, рисовались карты...

В летние каникулы устраивались скаутские лагеря. Для их финансирования, а также для помощи бедным, благоустройства храма, для поездок священника и псаломщика по всей стране — окормляли глухую провинцию — и для многого другого устраивались благотворительные елки, концерты, в 1950-е годы даже балы. Ставились пьесы, устраивались пикники и выезды на пляж. Священник у нас был один, прихожан у него было около двух с половиной тысяч человек, разбросанных по всей стране. На Рождество и Пасху все собирались к нам в Касабланку и останавливались, разумеется, у других прихожан. Например, у нас с мамой, когда мы уже переехали в город, останавливалось до восьми человек — а было у нас всего две комнаты с кухонькой, но без удобств...

Была в Касабланке также отличная русская библиотека, куда присылались все советские толстые журналы и многие эмигрантские журналы.

Для подростков были курсы родиноведения, и я помню, как мне пришлось делать доклад по различным вариантам романа Фадеева «Молодая гвардия» и объяснять, каким изменением партийной линии вызваны изменения, внесенные в роман...

Никто не задавался вопросом — зачем нам в Африке эта страстная любовь к России, зачем мы должны все это знать и изучать, почему мы даже на своих танцуйках проигрываем только русские пластинки?

Теперь, когда нам открыта дорога в Россию и на получение российского подданства образца XXI века, этот вопрос стоит снова задать.

Зачем теперь лицам русского происхождения, всю жизнь прожившим вне России, продолжать говорить по-русски между собой, требовать от детей и внуков, чтобы они учили русский и пользовались им, если никто из семьи не собирается ни жить в России, ни работать с использованием русского языка?

Вот вы подумайте сами над этим вопросом. Ведь в настоящее время, как и прежде, многие русские, покидая страну, и сами переходят на иной язык, и детей русскому не учат.

Для нас с мужем вопрос больше не стоит: хотя мы оба родились за границей, мы свободно говорим по-русски, все наши дети русский знают, а вот внуки — нет. У них отец англичанин и живут они в провинции, где нет русских детей, и настаивать мы уже не будем.

Дело в том, что наши дети сознательно приняли решение не переезжать в Россию, а остаться в Англии. Это и для нас, и для них оказалось неожиданным, так как Россия у нас всегда стояла в центре нашей жизни. Не какая-то призрачная, идеальная страна, а именно та советская, а затем и постсоветская Россия, в которой мы сейчас находимся. Дети ее продолжают любить, но жить будут в Англии. Да и мы с мужем решили вернуться в Англию, хотя последние двадцать с лишним лет жили скорее здесь, чем там.

Я думаю, что сейчас можно спокойно любить свою родину, без надрыва, как раньше. А раньше это было сознательным, трудным делом — но и тем стержнем, который позволил нам не сломиться.

Возвращаясь к марокканским годам, когда все мы отвергали местное общество, хотя учились в нем и работали, — что нам давала наша «русскость»? (Есть такое эмигрантское слово — русскость. Очень емкое).

Русскость давала очень многое.

Наши родители в результате войны потеряли не только все имущество, они потеряли также свое место в обществе. В большинстве случаев уже дедушки с бабушками потеряли его — в результате Октябрьской революции, и тут уже третье поколение оказалось снова в нищете, бесправии, безнадежности. В Марокко мы были также лишены и всей привычной европейской культуры, мы были полными изгоями, совершенно лишними людьми. Наша русскость была единственным оружием для защиты нашего человеческого достоинства. Мы были вынуждены жить в бараках без воды и света, но мы играли пьесы Чехова, Гоголя и Пушкина, мы писали иконы по русской традиции, наш хор был лучшим в Марокко музыкальным ансамблем. Мы — дети — учились в четверговой школе на подобающем нам уровне и добровольно читали трудные книги, писали сочинения и сдавали экзамены — мы для окружающего мира были букашками, а в своей среде — героями.

Не думаю, чтобы кто-либо в те дни думал о себе в таких высокопарных выражениях, но уверена, что именно этот упрямый отказ принять мерзкую действительность и остаться русскими на своем собственном уровне и был главным нашим методом выживания.

Не все, конечно, жили на этом уровне — несчастные копытовцы свою русскость проявляли в основном в пьянстве, но подавляющее большинство нашей марокканской эмиграции выжило, довело детей до хотя бы приличного уровня образования, достойно выбралось из той западни, в которую мы попали. Тут огромную роль сыграли те русские эмигранты первой волны, которые уже находились в Марокко к нашему приезду. Они нам показали, насколько действенной может быть русскость, насколько она не дает опуститься, скатиться в безнадежный быт, утонуть в своей нищете. Были среди этих местных русских очень бедные люди, но они отличались от всего окружения высочайшим достоинством, были культурны во всех отношениях — и пользовались в местном французском обществе большим уважением, а некоторые также большим влиянием. Вот глядя на этих людей — благодаря которым мама получила ту самую ссуду, которая открыла мне дорогу к образованию — я поняла, по какой дороге мне стоит идти. Впоследствии, в любой стране — за исключением Вьетнама — я немедленно находила себе подобных людей, и это обычно были русские. Вот попробуйте найти книгу Нины Федоровой — из жанра роман, хотя это слово совершенно не подходит — под названием «Семья». Она описывает жизнь нищей семьи русских эмигрантов в Китае, в самое тяжелое время. Там вы увидите эту русскость в ее самом ярком проявлении.

Так вот — в Марокко нашей эмиграции удалось найти ту стабильность, которой мы было лишились. После очень трудных первых месяцев, определился быт в лагере Бурназель, дети распределились по школам, взрослые — кто мог — нашли себе работу. Главное — землемеры наши вошли в рутину, распределение их времени и их заработок определились, и определилась также некая инфраструктура в самом лагере. Например, бабушки готовили пищу (на мангалах и примусах) для тех, кто учился или работал. Им за это платили. Две дамы, знавшие французский язык, но не имевшие никакой иной квалификации, преподавали его всем желающим — это их кормило. Многодетная балерина учила детей ритму, правильной осадке, немножко и народным танцам. Кто-то стирал, кто-то шил, кто-то сторожил детей, кто-то мастерил мебель... Наши врачи работали по специальности, хотя их диплом не признавали и они вынуждены были числиться медсестрами. Работая врачами, получали зарплату медсестер, но не роптали, а использовали эту возможность быть полезными. Кроме зарплаты, эта работа давала также доступ к источникам лекарств и витаминов. Мы все тогда страдали авитаминозом (отлично помню вызванные им страшно болезненные нарывы-фурункулы) и наши врачи всех подряд пичкали таблетками витаминов — это была новинка в те времена.

Мы не жаловались, а боролись. Мало кто сдавался, но многие умирали. Особенно среди копытовцев. У них не было того стержня, который держал семейных наших людей.

Помню, как мы — детский хор — колядовали по лагерю, т.е. ходили со звездой в рождественскую пору «Христа славить» по древней традиции. Заходили в каждый барак, в каждый отсек, и пели: каждый раз тропарь Рождества и одну колядку. Нам давали подарки, а также деньги на летний лагерь.

Так вот — к ужасу наших мам и бабушек, наш регент Евгений Иванович Евец, человек мудрый и исключительно достойный, водил нас также в бараки копытовцев, куда «приличные люди» не заходили. Парни жили не так, как семьи, они не отгораживались друг от друга. Вдоль барака стояло два ряда коек, около каждой койки стул, на каждой койке копытовец — и арабка-наложница. Когда мы входили в первый барак, среди этих женщин поднялся переполох, и они стремительно убежали, а парни были несколько смущены. Уже во втором бараке суеты и паники было меньше, и, в конце концов, за Евгением Ивановичем погналась делегация, ему вручили завернутые в какую-то бумагу деньги — от всех — и несколько мешков с угощением для певчих-детей, которое собрали эти женщины.

Мало кто уделял копытовцам такое внимание, и понятно, что они стояли на земле менее прочно, чем большинство нашей эмиграции.

Я, конечно, могу без конца рассказывать о Марокко и нашей жизни там, а также о дальнейшей судьбе нашей общины — но не буду. Даже не стану подробно рассказывать о том, как нам заново пришлось доказывать, что мы — действительно беженцы, а не безродное племя. Это — огромная тема, и она начинается с того момента, когда ООН решила отказаться от понятия «перемещенное лицо — ДР», и ввела новую классификацию людей, лишившихся своей родины.

Для меня это решение было связано с огромной ответственностью: я стала народным гонимым, мне фактически поручили перерегистрацию нашей общины. Почему мне? — Потому что я лучше всех говорила по-французски и не боялась властей. Эта уверенность в себе была, конечно, результатом успехов в учебе, но также и многолетнего участия в молодежной работе нашей общины, в которой я плавно переходила от ребенка к руководителю. Скаутские лагеря — прекрасная школа для закалки характера.

В октябре 1956 года я переехала во Францию и поступила в Сорбонну. Конечно, не имея никакого подданства, т.е. имея только беженский паспорт, я не могла стать врачом, как хотела. Самым простым для меня было заняться языками, поскольку я их уже знала достаточно хорошо: оставалось время на заработки и на другие интересные вещи.

Это тоже одна из характерных проблем Ди-Пи, и вполне обычное для того времени решение.

Мама пока осталась в Марокко, хотя там не было уже работы. Но ей некуда было ехать, пока я не устроюсь.

Мои мытарства по получению разрешения жить и учиться во Франции — длинный и грустный разговор. Вообще — переезды с места на место для беженцев всегда связаны с громадными трудностями. Даже мне было трудно справиться — хотя я знала язык, была молода и энергична, и, кроме того, подготовила почву заранее: я приезжала в Париж летом из детского лагеря и обо всем договорилась, со всех заблаговременно собрала нужные справки на бланках с печатями. Меня уже приняли в университет, мне уже присудили стипендию, мне уже дали комнату в общежитии, но я все равно несколько месяцев добивалась прописки! И этот кошмар повторился, когда в феврале приехала мама, официально приглашенная на работу местной фирмой. Ей, кроме того, негде было жить

(жилищное строительство в Париже фактически прекратилось еще до войны), и мама первое время ночевала в моем общежитии — на бельевом складе.

Но нам было легче, чем рядовому беженцу — в Париже у нас были уже знакомые (русские, конечно), я была опытным хористом, была известным уже во Франции молодежным руководителем, и так далее. По скаутской линии мне помогли добиться прописки, по НТС-овской линии мне нашли работу на полставки, по церковной линии нам нашли комнату для мамы... Мы ни минуты не падали духом, всегда рядом было плечо. Эта уверенность, однако, была достаточно ограниченной, она предохраняла только от откровенного отчаяния.

Конечно, в чисто бытовом плане нам пришлось все снова начинать сначала, к этому, в общем, трудно привыкнуть, но терпеть можно. Труднее было с безопасностью: шла алжирская война, в Париже взрывались бомбы террористов — я до сих пор не сажусь спиной к открытому пространству, стараюсь, чтобы меня сзади защищала стена: сказываются годы войны, затем националистическая революция в Марокко, алжирские беспорядки в Париже, а после этого мне еще предстояло небезопасное пребывание в Южном Вьетнаме...

Вернувшись в Европу, мы старались как можно больше наверстать упущенные возможности — в первую очередь путешествия, но кроме того мы наслаждались музеями (в Марокко их не было ни одного) и архитектурой. Не имея денег, можно путешествовать, предлагая определенные услуги — переводчика, например. Таким образом, к концу университетского курса (который я прошла стахановскими темпами) я пристрастилась к поездкам, а мама привыкла меня отпускать.

Как раз в период последних экзаменов в 1959 году мы получили французское подданство, и тут выяснилось, что беженский статус мне был во многом удобнее! Например, мне раньше давали стипендию без каких-либо условий — только сдавай экзамены. Но для француженки стипендия аспирантуры была связана с условием либо немедленно вернуть все деньги после окончания, либо отработать десять лет там, куда пошлет государство.

В аспирантуру я не пошла, стала искать работу. Находила только временные предложения — университетская степень мешала работодателям, они не решались предложить мне рутинную работу, а для интересной у меня не хватало знаний и опыта. Я делала случайные переводы, писала статьи на заказ (и то, и другое — на своих четырех языках), придумывала кроссворды для русской газеты, изредка пробивалась на радио (музыкальные передачи).

Во Франции бушевала алжирская война, для молодой девушки улицы были небезопасны — не столько из-за террористов (к которым мы привыкли), сколько из-за военной охраны, от которой мне порой было трудно отвязаться. Мама решила, что мне нужно уехать подальше, куда-нибудь, где поспокойнее. И я поехала во Вьетнам.

Это не так смешно, как теперь кажется: в конце 1959 года во Вьетнаме действительно было тихо. Война против французов окончилась, война против американцев еще не начиналась. Я шесть месяцев провела в Сайгоне и Далате, опять-таки используя свои языки, а также опыт редактирования текстов. Это было трудное время, т.к. я опять

оказалась без местного языка — и ни вьетнамский, ни китайский изучить не смогла. Кроме того, я ростом была на голову выше окружающих. И, наконец, впервые в жизни я была далеко от церкви. Католики во Вьетнаме отказались со мной говорить, пока я не перейду в их веру — что я не собиралась делать, а других христиан вокруг не было.

Через шесть месяцев я не продлила контракт, а отправилась домой — на самолете, конечно, как и прибыла в страну. Но дорога Париж-Сайгон заняла двадцать три часа, а Сайгон-Париж — два с половиной месяца.

В те благословенные времена для человека, имеющего авиабилет дальнего следования, можно было останавливаться столько раз, сколько захочется. Нужно было только продвигаться вперед в правильном направлении — т.е. в моем случае с востока на запад. Отклонения к югу или северу в счет не шли.

Я посоветовалась с мамой, что мне делать — везти ли домой те деньги, которые я отложила из своего заработка и купить на них, скажем, плиту или водогрев (у нас была только холодная вода, да и та не в комнате, а в коридоре). Мама ответила — не вези ничего, постарайся набраться впечатлений. Другой возможности побывать на Дальнем Востоке у тебя не будет.

Вот я и разработала себе маршрут — Сайгон — Сьем Реап (это в Камбодже, где храмы Ангкора), Рангун — Бангкок — Калькутта — Патна — Бенарес — Агра — Нью-Дели (и Фатехпур Сикри) — Карачи — Бахрейн — Каир — Иерусалим (тогда это была Иордания) — Бейрут — Стамбул — Афины — Рим — Париж. В Риме, кроме красот города, я еще полюбовалась Олимпийскими играми.

Летела я с подружкой-коллегой, и мы дружно защищались от окружающего мира. Непросто было двум блондинкам ездить по Дальнему Востоку. Экономили на всем, но использовали каждую минуту. В Камбодже мы исползали невероятное множество заброшенных храмов. В Бангкоке мы удивлялись, что в местном музее показывают только камни и керамику — но там термиты и невероятная влажность уничтожают все остальное, даже металл. В Бенаресе меня укусила священная обезьяна, а в Акре из слива нашего душа выползла кобра. В Каире встречали восход солнца у пирамиды Хеопса. В Афинах слушали Пятую симфонию Бетховена, сидя на ступенях Акрополя...

Вернувшись в Париж, я снова стала искать работу. Мне было 25 лет. Опять же благодаря знакомствам, я выдержала экзамены на переводчика ЮНЕСКО. Тут исключительно хорошо платили, работа была престижная, но мне было невероятно трудно работать. Иногда попадались интересные переводы — как, например, немецкий отчет об изучении растительности Сахары. Его дотошный автор несколько лет искал в Сахаре растения (на грант ЮНЕСКО). Когда находил — выкапывал, изучал. Придумывал немецкие названия для описания растений. Мне нужно было это переводить на английский или французский, уж не помню — эти языки не так легко допускают словотворчество, которое позволяет немецкий. А кроме таких редких исключений, работа была нервная, неравномерно распределенная, и требовала в основном компиляции из различных резолюций ООН и ЮНЕСКО.

Тут меня нашел глава русского отдела «Би-Би-Си», Александр Павлович Ливен, и пригласил попробовать поступить туда на службу.

«Би-Би-Си» я знала хорошо, потому что мама слушала его передачи во время войны и считала их самыми ценными.

Таким образом, я попала в Англию, где мой искусственно приобретенный английский язык прошел сложное испытание — диалекты в Англии многочисленны и многообразны. Тут я, наконец, осела, и живу в Лондоне уже более пятидесяти лет. Сюда приехал и также укоренился мой муж, здесь родились и выросли наши дети. Здесь появились у нас и внуки.

В «Би-Би-Си» я оставалась сравнительно недолго — всего 13 лет, пока младший ребенок не пошел в школу. Тут оказалось, что я детей вижу раз-другой в неделю: ведь работа в «Би-Би-Си» идет по сменам, включая ночную смену, и захватывает также выходные.

С 1974 года я стала преподавать в школе — сначала только французский язык и литературу, затем добавила также русский, но как вторичный предмет. Русский для меня остается основой жизни, а не средством зарабатывать деньги. Мне посчастливилось работать в лучших школах Англии.

В 1990 году я впервые попала в Россию — причем в качестве английской учительницы, со школьной группой. Это было сильное ощущение и привело оно к двадцати годам нашей жизни на две страны: в Лондоне мы зарабатывали на жизнь, а в России жили полной жизнью. После выхода на пенсию мы с мужем проводили в России примерно половину времени, а дети наши, посетив Россию несколько раз, решили остаться в Англии.

У них был выбор: язык они знают, их профессиональные дипломы в России действительны, есть близкие друзья (по скаутской, церковной линии и просто личные друзья), есть родственники. Они всю жизнь были русскими — но теперь, получив возможность переехать в Россию, решили жить в Англии. Они при этом не отказываются от своей русскости, но относятся к ней более хладнокровно, чем их родители.

Думаю, что и я нашла, наконец, стабильность в своей жизни: мне хорошо и в Англии, и в России. Я могу жить и тут, и там. Если бы мы были лет на десять-пятнадцать моложе, мы бы, скорее всего, переехали жить в Россию, и дети, скорее всего, тоже переехали бы сюда, но эти десять лет ушли, их не вернуть. В столь преклонном возрасте лучше оставаться при знакомой системе медицинского обслуживания.

Так что вот — к 27 годам я побывала в 27 странах, но стабильности не нашла. Не хватало одной страны, той самой! Теперь я приехала в Россию в 29-й раз (этот вопрос задают в анкетах, когда подаешь на визу).

Стабильность есть.